

An abstract painting featuring a central face rendered in light tones, surrounded by vibrant red and yellow roses. The background is a mix of dark blue and black, with expressive brushstrokes. The overall style is expressive and somewhat somber.

о́льга
ма́риничева

**исповедь
нормальной
сумасшедшей**

документальный
роман



<http://books.vremya.ru>

Ольга Мариничева

**Исповедь нормальной
сумасшедшей**

«WebKniga»

2011

Мариничева О. В.

Исповедь нормальной сумасшедшей / О. В. Мариничева —
«WebKniga», 2011

Понятие «тайна исповеди» к этой «Исповеди...» совсем уж неприменимо. Если какая-то тайна и есть, то всего одна – как Ольге Мариничевой хватило душевных сил на такую невероятную книгу. Ведь даже здоровому человеку... Стоп: а кто, собственно, определяет границы нашего здоровья или нездоровья? Да, автор сама именуется сумасшедшей, но, задумываясь над ее рассказом о жизни в «психушке» и за ее стенами, понимаешь, что нет ничего нормальней человеческой доброты, тепла, понимания и участия. «"А все ли здоровы, – спрашивает нас автор, – из тех, кто не стоит на учете?" Можно ли назвать здоровым чувство предельного эгоизма, равнодушия, цинизма? То-то и оно...» (Инна Руденко).

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	7
У профессора	8
На экране сомкнутых век	9
В Ганнушкина	10
И плюшевые звери, тебя покуда нет, поговорят со мной...	13
«Ты меня везде найдешь»	15
Тамара Георгиевна	16
В Центре	17
Сон на даче	18
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Ольга Мариничева

Исповедь нормальной сумасшедшей

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга впервые появилась в магазинах под этим же названием – «Исповедь нормальной сумасшедшей» (то была первая часть книги, которая теперь у вас в руках целиком, под одной обложкой). Но тогда на обложке стояло другое имя автора: Марина Заречная.

Почему же Ольга Мариничева, известный журналист «Комсомольской правды» (ныне она сотрудничает с «Учительской» и «Новой газетой»), вначале выпустила ее под псевдонимом? Ответ прост: ей было нелегко исповедоваться перед всеми, и знакомыми, и незнакомыми.

Когда книга готовилась к публикации, некоторые мои коллеги, признавая рукопись талантливой и необычайно острой по материалу, делились со мной своими сомнениями: а надо ли так? Стоит ли говорить о себе такие вещи? Выяснилось, что да, стоит.

Я не знаю, можно ли назвать победой над болезнью эту книгу. Но я точно знаю, что это победа над хаосом, вычленение из этого хаоса самых важных вещей, придание им смысла, цементирование себя именно в этих смыслах.

Первый из них Ольга Мариничева прописала прямо в заглавии книги, в первых, можно сказать, ее буквах – нормальное сумасшествие.

Это был вызов всем нам, считающим себя сведущими в том, что нормально, а что нет, опирающимся на психическую норму, или, как сейчас любят говорить, на адекватность как на некий фундамент, базис своего бытия.

Все, что за этой гранью (так нам кажется), лишено всякой логики, порядка, конструктивности, находится на темной стороне бытия. Но мы ошибаемся. Мы ничего об этом не знаем.

Мариничева смогла написать свою драматическую личную историю именно изнутри этой «другой жизни», и описание это оказалось и логичным, и конструктивным, и наполненным. То есть там все это есть, все присутствует в полной мере.

То, что это открытие по сути дела сенсационно – стало очевидно сразу, книга «Марины Заречной» быстро разошлась и стала библиографической редкостью. Но дело, конечно, не только в этом.

Я уже сказал, что главная ценность книги – в открывании многих и многих смыслов, в их обретении.

Когда я читал книгу, то думал вот о чем.

В моду сейчас вошла духовная розовощекость. Какая-то очень плоско понятая «нормальность». В культурную моду вошла другая «нормальность», тоже очень плоско, на мой взгляд, понятая: жесткая необратимость жизни. Ее заурядность. А с другой стороны, обаяние зла. То есть произошла интересная вещь. Сумасшествие как культурная категория вышло из моды.

...Ведь сумасшедший всегда страдает. Из моды вышло прежде всего это – страдание. Страдание за других.

«Это ни с чем не сравнимое братство – единение больных в психушках с одним желанием: выздороветь, выйти оттуда, зацепиться, задержаться хоть в чем-то в реальности. Могу свидетельствовать: болеют, как правило, очень хорошие, сердечные, душевные люди», – пишет Ольга Мариничева.

«Я слушала двадцать второго июня по радио передачу о каком-то музыканте, ушедшем на фронт прямо с выпускного бала, и рыдала навзрыд».

«Я уже не так наивна, чтобы отрицать в мире зло (это просто в моем мире его нет), недооценивать его мощь. И потому будут новые и новые развалины, депрессии».

Три цитаты, выбранные мной наугад. Все они о добре и зле. И это абсолютно не случайно.

Всю свою профессиональную жизнь Ольга Мариничева занималась «педагогикой сотрудничества». Под этим громким именем развивалась в 70 – 90-е годы деятельность самых разных людей: и учителей-новаторов, и так называемых коммунаров, которые практиковали довольно сложную психотренинговую методику, менявшую поведение детей за считанные дни. А если говорить еще проще – это было движение, объединявшее профессиональных *делателей добра*.

Так вот, добро эти люди понимали не как тонкое душевное качество, не как производное морали и воспитания, не как атмосферу жизни. Нет, они считали, что добро – это конкретная работа, что его нужно просто делать. И как всякая деятельность такого рода, она встречала массу препон и от власти, и от обычных граждан, и, наконец, встречались препоны совсем уж тяжелые – внутренние.

Но всех этих людей Ольга героически собирала, помогала им, писала о них – несмотря ни на что.

И вот, читая про то, как она, уже на положении пациента, а не всесильного журналиста, в своей больнице устраивала концерты, выпускала стенгазету, вела душеспасительные разговоры с больными, – я понимаю вдруг, что, вытесненное в самую маргинальную зону, это самое добро обязательно отомстит нашей, такой с виду нормальной жизни.

Отомстит за свое отсутствие. И в этом второй важнейший смысл книги, которая писалась долго и трудно.

Вообще-то, как во всяком хорошо написанном произведении, основанном не только на мыслях и образах, но и на фактах (а книга Ольги Мариничевой основана всегда и только на них), здесь есть огромная увлекательность. Поняв на какой-то странице, что имеет дело с реальной жизнью реального человека, читатель, как мне кажется, должен вначале просто оцепенеть, а потом... Потом что-то произойдет. Открытие, прозрение, катарсис, какой-то важнейший момент уже вашей личной биографии. Нечто откроется. И уже не закроется никогда.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Борис Минаев, писатель

В саду личинка

Выжить пытается.

Санта Лючия —

Мне это нравится.

Белла Ахмадулина

Маме

Памяти звезд и сверчков. Ты слышишь? – сверчат.

Жизнь – это мимолетный цветочный сор, и немного грустно.

Это вмятины на траве, стойко хранящие силуэты отдохавших на ней тел. Мотыльковый трепет, легкий солнечный свет, кружево теней от узорчатой листвы на тропинке... Не Вечность, а мгновение. Я знаю: в Саду Жизни Его нет. Но Он есть в Саду моей Памяти. А это уже кое-что...

У профессора

Я заболела весной, в апреле 1981-го. Любимый человек уехал – я пыталась его материализовать. Мне нужен был двойник: с «оригиналом» я жить не могла – он был женат, у него дочка училась в четвертом классе.

В процессе «материализации» я мысленно столкнулась с одним не то ангелом, не то инопланетянином, который кружился над землей, и ему некуда было воплотиться. Я за компанию решила и его через себя воплотить. Так родился образ, который я со временем назову Гарри. Он изначально был соткан из моей любви.

Тот первый раз происходил на квартире моего старшего друга, профессора, к которому я удрала, скрываясь от мужа. А за мужа я вышла замуж, чтобы отрезать любимому человеку пути ко мне. Вышла замуж и подружила их, чтобы через друга он не смог переступить. Вот такая я авантюристка.

Хорошо помню первый яркий день на квартире у профессора. (А мне говорят, что бред – это беспомыслие. Отчего же я так хорошо это помню?) За окном летали птицы и струился солнечный свет. Над кроватью у профессора висела репродукция картины Рембрандта «Даная». Вот и я, как она, хотела принять в себя солнечный свет. Окружающие меня не поняли: примчался муж с моей сестрой, вызвали психиатра, решили меня увезти в больницу. Я садилась в машину, именуемую в народе «психовоз», в полной уверенности, что меня везут на свидание к любимому человеку в березовую рощу. Я уже видела его внутренним взором: высокий, широкоплечий, в синем плаще, в серебряной седине кудрей, откинутых назад с высокого чистого лба.

Профессор, опекавший моего героя (а я к тому же писала о нем очерк в своей газете), послал ему телеграмму с просьбой срочно приехать. А сестра, когда меня уже увезли, послала ему письмо с требованием высказаться о его намерениях на мой счет. В семье у него от этого письма был скандал. И чего они к нам привязались? Жаль, мама тогда еще не жила в Москве – она, быть может, просто дала бы мне отоспаться. Вот все, что нужно, по-моему, для преодоления психических приступов моего типа: отоспаться. Но окружающие были напуганы моими визитами к окну и думали – хочу выброситься. А я просто смотрела на птиц и впитывала солнечный свет.

На экране сомкнутых век

Ночью (я примчалась к профессору около полуночи) ко мне впервые явились видения. Или как там еще можно назвать проекцию работы подсознания на экран сомкнутых, а то и открытых век? Сны наяву, грезы, видения...

Надо сказать, что мы с друзьями с детства бредили коммунизмом (бредили в обычном, не психиатрическом смысле этого слова). Поэтому неудивительно, что первым ко мне явился (или я к нему?) Карл Маркс. Перед глазами появились брусчатка мостовых, пушечные ядра – очевидно, Французская революция – и потом Маркс в виде чугунного памятника. Он на моих глазах отливается в памятник, а я, улетаая с земли, слышала, как вслед мне грохотал его голос, почему-то по-русски: «Запомни! Высшее творчество – социальное!» Я запомнила.

Потом пожаловали Ленин с Крупской. Опять брусчатка, только уже московская: Ленин и Крупская идут по Москве за гробом Инессы Арманд. А над ними (над нами? – ибо я тоже, очевидно, рядом иду, раз вижу брусчатку под ногами) несется на мотив песни «Песняров» про Олесю: «Инесса, Инесса, Инесса! Там птицы стучат в поднебесье... Останься со мною, как песня!»...

Какие-то там еще железные птицы в поднебесье подвернулись...

А в итоге нарисовался мой Учитель, сбежавший в свое время ко мне от жены. Он у меня перед глазами заплясал мелким бесом под мелодию старой студенческой песни, которую он очень любил: «Они песни поют, они горькую пьют и еще кое-чем занимаются. Через тумбу-тумбу раз...» – и так далее.

Я подумала, что Учителя моего простил кто-то там наверху, и он обрел свободу. Вслед за ним должна была – я чувствовала это – пожаловать и его жена. Наши общие друзья называли ее «ворожеей», я тут уже струхнула и очнулась на квартире у профессора.

В Ганнушкина

Этот сюжет видений начался еще на квартире у профессора. В отличие от встреч с Марксом и Лениным, исполненных в грязновато-бурых, тревожных тонах, этот сюжет шел в светлом, искрящемся тоне. Он дал повод моим друзьям называть меня ясновидящей. В нем шла речь о двух этапах некоего переустройства мира (назовем его привычным словом «перестройка»), которые я «предвидела» еще в тысяча девятьсот восемьдесят первом году, на заре своей болезни.

Так вот, первый этап был замешен на той самой брусчатке, по ней спешил мой Учитель на какую-то свою борьбу в сопровождении общей для обоих этапов мелодии о Беловежской пуще. Только в первом этапе мелодия звучала ускоренно, твердо, стаккато, а во втором...

О, это целая поэма! Это был наш период – мой и моих ребят, которых я растила в клубе при редакции в начале семидесятых годов. Этот сюжет я досматривала уже в больнице.

Вот его описание: на фоне яркого солнечного синего неба торжественно взмываются ввысь, в ритме плавной, замедленной мелодии «Беловежской пущи», ослепительно белые фонтаны снега. А солдаты в расстегнутых гимнастерках играют с мальчишками в снежки. Это была картина ослепительного счастья. Но в ней присутствовала капля крови, которая вплелась в этот сюжет с моего полотенца в изголовье кровати: очевидно, кровь шла носом. Я смотрела эту картину с ликующим чувством! А сама в это время лежала на вязках – в больнице привязали к кровати руки-ноги и плечи («хомут»).

Это – утром. А ночью, когда меня привезли, мне убедительно казалось, что сейчас меня позовут какие-то умные люди, которые вершат судьбы, – в Бога я тогда еще не вполне верила. Я была убеждена, что они находятся надо мной, на втором этаже, и что у них там совещание (люди в кожаных куртках из песни про летчиков: «Кожаные куртки, брошенные в угол»).

Принял меня уставший врач, по виду которого было ясно, что к КГБ он не имеет никакого отношения (я-то, как все в моем *кругу*, *думала*, что психушки существуют в основном для диссидентов). Но тут мне привиделось, что после моего пребывания в больнице (маниакал, то есть подъемно-бредовое состояние, всегда имеет в себе манию величия) двери всех психбольниц распахнутся, и больные выйдут на свободу, распевая песни и звеня бубенцами. Как ни странно, сейчас мне кажется, что это исполнилось, что и впрямь все психи – на свободе. Взять ту же Госдуму образца 1995 года: митинги нынешних коммунистов, теледебаты политиков... Но нет – политике не место в моем рассказе.

Тогда же, в тысяча девятьсот восемьдесят первом году, я была оставлена наедине с реальностью психбольницы. Первые дни были в остром бреде и на сильных уколах. А я еще дезориентировала врачей криками типа «Не стреляйте в белых лебедей!».

Это я продолжала в уме писать начатую статью о директоре Магаданского детдома, столкнувшемся с золотой мафией, которого хотели спасти его ученики. Они писали ему со всей страны. Письма слетались, словно белые лебеди. Но у врачей одно на уме: если «не стреляйте!», то – мания преследования, что означало дополнительные уколы. На меня приходили смотреть, словно на музейный экспонат. Дело в том, что в бреде, в отличие от всех остальных здешних буйных, я не употребляла матерных слов. Поэтому ко мне относились с уважением и больные, и санитарки. Одна девушка-экстрасенс назвала меня Джульеттой, ибо в бреде я постоянно звала своего любимого. Я же продолжала свои усилия по материализации, пользуясь формулой Маркса и философа Ильенкова о том, что личность – это ансамбль отношений. Вот мне и казалось, если я воссоздам из разных окружающих меня в больнице людей этот «ансамбль» (из глаз, лиц, фигур), то возникнет, зародится, как узелок на переплетении ниток, и мой любимый.

Человек всегда найдет, на чем свихнуться. Я вот начала с марксизма. А в последнее время и до религии дело дошло.

Именно больница имени Ганнушкина стала моими жизненными университетами. Тут собрался весь «цвет общества» – наркоманки, воровки, проститутки – с редкими вкраплениями перепуганной интеллигенции. Тут я научилась драться, разнимать дерущихся. Я и из «вязок» в бессонные ночи быстренько научилась выкручиваться, доводя до бешенства санитарок.

* * *

Первое время уколы мне делали насильно. Я кричала, что они убьют моего ребенка. Из каких-то иных измерений в мою бедную голову занеслась мысль, что я беременна (от солнечного света, наверное), но не реальным ребенком, а новой эпохой под названием «Золотой Век Детства». Вот я и вопила, что они (медсестры и санитарки) мне его изуродуют.

Но зла я на них не имела, называла их куропатками, вспоминая стихи Николая Заболоцкого о Марине Цветаевой:

Ах, как скучно жить Марусе в городе Тарусе —
Петухи одни да гуси – Господи Иисусе...

Но главное – я хотела помочь всем больным, каким-то шестым чувством понимая, что хотят выразить даже хроники, вообще не возвращающиеся в реальность.

Врачи меня любили. Жаль только, давали себе право судить о моей личной жизни. Они вынесли приговор, что мой любимый человек и есть моя болезнь, мой диагноз. Вот тут они меня и сломали (но только на время).

Я безвольно кивнула, и заведующая отделением (потом ее сменили), торжествуя, посмотрела на младшую коллегу. Она всегда радостно и победно смотрела на меня, приговаривая: «Хорошо видеть результат своей работы!» Но однажды, когда я покорно кивнула, и заведующая было пошла дальше, младшенькая воскликнула: «Да вы посмотрите, у нее же слезы на глазах!»

«Это слезы радости!» – победно, как отрезала, заявила заведующая, крутанув хвостом туго стянутых волос.

Вскоре началась депрессия. Так я выразила в стихах ее суть уже после больницы:

Все соборы беззвучно взорвали,
Вместо горных вершин – суховеи.
И холодная зелень мая
Стала тусклой мечтой о снеге,
Обесцвеченной и отпетой,
Как отцветшие волосы Сольвейг.
И бредут в немоте поэты,
И куда-то пропали боги.
Затяну поясok печали,
перестану дышать тобою.
Белый чайник себе поставлю.
И ошибку в себе открою.

Убеждена до сих пор: нельзя психиатрам так однозначно судить о личной, сердечной жизни пациентов! Нельзя, даже если любовь проходит в форме бреда. Ведь не мной замечено: зависимость психически больных от психиатра колоссальна, власть его над душами ничем не ограничена и ни с чем не сравнима. Психиатрам больные верят, как Богу. И нельзя, нельзя,

нельзя ломать любовь, даже ради спасения пациента, его возврата в реальность. Иначе в реальность возвратится убитая душа.

А тут еще эта грязь, смрад, плесень и подтеки на стенах, мат-перемат на кухне, куда за обедом посылают дежурных больных, жуткая одежда для гуляний: старые телогрейки и разбитые, типа солдатских, ботинки. Оказавшись в этой реальности и впав в тяжелую депрессию, я с тоской вспоминала лучезарные дни маниакала и хорошо помнила весь свой волшебный бред, когда я внутри себя бежала, как по мосточкам через болото, по сюжетам сказок. По архетипам сознания, если пользоваться выражением психолога Юнга. А мне тогда казалось – это моя умершая бабушка подсказывает мне сказочные сюжеты, словно мосточки над трясиной бреда стелет.

Потом, повторяю, все погасло. А возродилось только осенью, когда я поехала в командировку и встретила своего любимого. Той же силы поток образов, ассоциаций хлынул на меня будто с небес. Ну а врачи в Москве сказали: заболела снова. Действительно, впереди был новый виток болезни – уже с новым именем.

И плюшевые звери, тебя покуда нет, поговорят со мной...

Его мне послал Господь, как утешение за ту любовь, несбыточную. Впрочем, новая любовь оказалась, как показали все последующие годы, не намного «сбыточнее».

Наш общий друг однажды зимой попросил меня как журналиста спасти человека, находившегося в очень тяжелом состоянии в связи с постоянными гонениями со стороны властей. Его звали Юрой. Мы пришли в его квартиру на Садово-Черногрязской улице, и я с первого мгновения, как в романах пишут, увидела: это он. А он взял гитару и сказал, что подберет ко мне музыку – получилось «Расцветали яблони и груши» про Катюшу и бойца. И еще он сказал, что его нет в живых, что остался только пепел. Я заметила, что пепел – хорошее удобрение для новых всходов. Был он высок, бородат, красив и несчастлив. Долгие годы над ним тяготели и тяготели до сих пор наветы, а в прошлом – суды, Бутырка, принудление в психушках...

Я радостно сообщила маме в тот вечер, что нашла как раз того, кого нужно: диагноз «вялотекущая шизофрения», обвинение в педофилии. А он ни в чем не был виноват. Продолжал полулегально работать с детьми вопреки всему. Вот мой герой, как раз мне по плечу. Мама только обреченно вздохнула.

Второй раз меня увозили в больницу уже из подъезда его дома, в котором я, одной мне понятными способами, «расколдовывала» этот подъезд от злых сил (Юры дома не было): расплескивала по ступеням и стенам пузырьки с разноцветной тушью и, кажется, даже духами (вот дура-то!). Притащила Вике, его тете, ворох своих бус и ожерелий (в моем бреде она была царица морская, которая просто так мне Юру не отдаст). А еще в те дни я всем незамужним женщинам раздавала мелкие незабудки из эмали – разорвала свое ожерелье. Одну незабудку подсунула под дверь бывшей Юркиной жены (она жила в той же квартире в ожидании разъезда), чтобы у нее все хорошо сложилось без Юры. В общем, «психовоз» мне вызвали в этот раз его тетя с бабушкой.

И опять – санитары, вязки, уколы, материализация... Я близорука, а в «острой», поднадзорной палате очки не положены, потому моя фантазия беспрепятственно творила из расплывчатых силуэтов окружающих людей материальное предвплотение Юры (потом нечто схожее я видела в кинофильме «Собачье сердце»).

Помню острое чувство всепоглощающей тоски еще тогда, когда я бормотала у него в полутемном подъезде, – а вдруг его нет со мной?! (Я-то была уверена, что он незримо присутствует рядом.) Вдруг мою речь, обращенную к нему, никто в целом мире не слышит?!

...Я звала по привычке кого-то,
Но в ответ в этом царстве теней
Даже голос мне не был дарован,
Страшный голос: «Меня нет нигде».

Это сейчас, когда я учусь верить в Бога и избавилась от этого леденящего чувства глобального, тотального одиночества, есть кому слышать меня.

А тогда – я просто ждала. Это было невыносимо: он так никогда и не пришел ко мне в больницу, но я не роптала и не ропщу. Со мной были его песни, я ими дышала, ими жила. С ними работала. Это у нас с Юркой общее: постоянная работа с людьми.

Медперсонал использовал мою энергию на полную катушку. Старшей медсестре я писала рефераты по марксистско-ленинской философии (она училась на каких-то курсах), проводила политинформации, концерты, заведующей отделения (уже другой, сменившейся) помогала внедрять что-то вроде системы Макаренко в жизнь психбольницы. В качестве председа-

теля совета больных проводила с ней по субботам, в ее выходной, общие собрания, следила за графиком производственных работ в мастерских, в отделении, в столовой какого-то завода...

При советской власти у каждого отделения психбольниц был свой производственный план, который нужно было выполнять за чисто символическую плату, да еще и участвовать в соцсоревновании. План этот съедал у медперсонала не меньше сил, чем само лечение. А для больных... Какой кретин назвал это трудотерапией?

Пациентам психбольниц нужен не монотонный, скучный труд по склеиванию коробочек, протиранию резинок в пластмассовые козырьки от солнца, клепанию металлических изделий в мастерских и мытью полов в заводской столовой, а – творчество. Ведь по преимуществу все, лежащее в этих больницах, обладает мощной фантазией, воображением. Это понимал Ганнушкин в начале века. В нашем отделении сохранился его бывший кабинет, отданный уже в нынешнее время под комнату свиданий с посетителями. Сохранился огромный дубовый стол, старинный рояль, пальмы в кадках и совершенно замороживший меня громадный шкаф темного дерева со стеклянными дверцами. Там, за стеклом, стояли игрушки, мастерски выполненные: тряпичные фигурки людей и зверей. Куклы в платьях крестьян, рабочих, купчих. Продукция больных начала двадцатого века. Ганнушкин знал свое дело. Не понимаю, почему в отечественной официальной психиатрии, в отличие от зарубежной, почти не практикуется терапия искусством, творчеством? Наверное, просто денег не хватает. Этот шкаф служил мне местом отдохновения. В душе оживала песня Юры: «Мы души игрушек, заброшенных вами когда-то».

Я пробиралась в одиночестве к заветному месту, усаживалась на корточки у дверец, наблюдая игрушки, и напевала про себя песенку Веры Матвеевой: «...И плюшевые звери, тебя покуда нет, поговорят со мной...» Это было моей отдушиной, когда сердце замирало от нежности и смиренного ожидания.

...Жизнь души как мотылек, зажатый между пальцами, трепещет и не дается к воплощению в прокрустовом ложе слов.

Это всегда мешало мне писать о пережитом: получалась неправда. Но теперь мне просто некуда, кроме слов. Один из моих нынешних докторов, сотрудник Центра психического здоровья Александр Николаевич Коренев утверждает, что для меня лучший способ выздоровления – публикация своего бреда, всего пережитого в болезни.

А я хочу выздороветь. Вот и пишу, начивав на невоплотимость Правды Жизни. В конечном счете, все вокруг нас – условность, относительность, правдив и абсолютен один лишь Бог, Его Слово, а наше – лишь отчасти.

...Мы вторичны.
Мы все – приблизительны.
Мы лишь копии копий.
Спасенья
В мире нет
От тоски повторенья.
И – смертельной жажды
Первичного.

«Ты меня везде найдешь»

Но есть еще одно глубинное чувство, которое меня ведет в этих записках: боль за моих девочек, оставшихся в психбольницах, особенно – за хроников, чей мир вовсе невыразим в наших словах и понятиях. Но я почему-то каким-то шестым чувством их понимала. Одну из них я называла Олесей – из больных никто не знал ее имени: вогнутая от постоянного лежания спина, шербатый рот. Родителей у нее не было, только сестра, которая перестала забирать ее домой после того, как Олеся разбила телевизор. Я удивлялась: как может телевизор быть дороже сестры? Олеся в основном лежала без движения, что-то бормоча себе под нос, и лишь изредка подходила к окну и начинала вопить на все отделение с чьих-то матерных слов: «Хочу ебаться!», прогибаясь вперед деформированным позвоночником. Я становилась с ней рядом у окна, мы молча общались, она успокаивалась. В тот день, когда Олеся навсегда увозили в загородную больницу для хроников, мы так же молча стояли с ней у окна. И вдруг она неожиданно, тусклым голосом, но внятно и почти осознанно сказала мне, глядя в окно: «Я знаю, ты меня везде найдешь». Я тебя везде найду, Олеся. Я – помню.

Мне надо их помнить, чтоб хоть как-то озвучить, материализовать их существование в нашей реальности, в которой их вроде и нет ни для кого, кроме санитарок, врачей и близких родственников, если таковые еще имеются.

Вторую девушку, совсем девчушку, с густой короткой стрижкой, звали Светой, но она себя называла «он». Больше ничего из ее бормотания разобрать было нельзя. По ее знакам и мычанию я поняла, что себя она считала оленем и потому жевала сушеную траву, а попросту – табак, который она добывала, потроша чужие сигареты, за что получала бессчетное количество тумаков. Она постоянно сидела на толчке, у нее был геморрой, и откликалась только на просьбу добродушной полной санитарки спеть песенку. В ответ она запрокидывала голову и тут же, на толчке, в немыслимо бешеном темпе выговаривая слова, начинала петь: «А нам все равно, мы волшебную косим трын-траву». Она, как я поняла, хотела спасти все живое. Мотив всеобщего спасения очень силен среди душевнобольных (вспомните «Красный цветок» Гаршина).

Еще одна девушка, с зелеными печальными глазами, ставшая инвалидом после того, как со словами «С Богом!» шагнула вниз из окна четвертого этажа и чудом выжила, очень хотела развесить по всей земле плакаты всего с двумя словами – «Берегите воду». Ее глаза были очень похожи на глаза моего Юры, поэтому я еще в бреду выделила ее среди остальных. Потом мы с ней встречались уже после психушки, я навещала ее в обычных больницах, в которых она лежала с позвоночником. Это ни с чем не сравнимое братство – единение больных в психушках, объединенных одним желанием: выздороветь, выйти оттуда, зацепиться, задержаться хоть чем-то в реальности. Могу свидетельствовать: болеют, как правило, очень хорошие, сердечные, душевные люди. Моя мама, будучи в нашем отделении председателем совета родственников, начинала свои поздравления больных с очередным праздником со слов, что здесь собраны самые тонкие, самые восприимчивые люди – и эти слова необычайно поддерживали моих подруг. Я же с радостью готовила для них концерты с их же участием, собирала деньги и закупала с девчонками угощения на праздники, устраивала танцевальные вечера с приглашением пациентов из мужского отделения и очень сожалела, что мои друзья-музыканты не принимали всерьез мои просьбы прийти к нам поиграть и попеть.

Люди добрые! Не пугайтесь психбольных, не отрезайте жизнь этих людей от собственной реальности, если уж не можете не сдавать нас туда. Мы – такие же, как вы, только немного другие.

Мы очень хотим быть обычными, быть – как все, даже если у нас это никак не получается.

Тамара Георгиевна

Я бесконечно благодарна врачам, стремившимся меня понять. Конечно, я им говорила не все, оставляя кое-что про запас, в тайне. Например, то, что я считала своим «волшебством», называя себя Комиссаром программы «Солярис» в честь одноименного фильма Тарковского по Станиславу Лему. Суть программы: материализация духовных объектов, о чем я докладывала своим подругам по больнице. От врачей же скрывала: все равно не поймут. Но остальное все рассказывала.

Мне повезло с новой заведующей отделением Тамарой Георгиевной Никулиной: она оказалась хорошей слушательницей, а впоследствии – нашим с мамой другом. По весне мы ездили вместе с ней за ландышами к нам на дачу. А в больнице она была для меня отдушиной, не считала бредом, например, мое неистовое желание позвонить моему знакомому, заместителю главного редактора журнала «Коммунист», и сказать, что в статье Ленина о Фейербахе, опубликованной в их журнале, Ленин ошибался. Фейербах писал, что мы такое же вещество, из которого сделаны звезды, а Ленин это оспаривал. С этим журналом я и прибыла в больницу. Тамара Георгиевна мягко выслушала меня и посоветовала не звонить: философы сами разберутся и напечатают свои статьи, а мы их почитаем. Это меня немного успокоило.

Я любила уединяться с ней в ее кабинете и петь ей песенки – например, визборовскую «Милая моя, солнышко лесное». Она внимательно, молча слушала, склонив голову к плечу.

Она же спасла меня от этой больницы, сказав, что это место не для меня, и посоветовала нам с мамой пробиться в Центр психического здоровья, что мы и сделали. У меня как раз была тяжелая депрессия, попытки суицида. Полдня просидела с открытыми газовыми конфорками и духовкой – не брало. Резала вены – недорезала, пошла в больницу зашивать запястье, отпугнутая от суицида театральностью этого жеста. Докторица, принимавшая меня в Центре, не понимала тривиальных вещей, утверждая, что нет никакой разницы между Ганнушкина и этим Центром – только стены другие: финская мебель, французские гравюры. Так в этом вся и суть! Окружающая больных материальная среда – это же очень важно, если не самое главное! А самое главное: в Центре меньше нагрузка на врачей, они ведут всего по семь человек каждый. Центр – элитарное лечебное заведение для больных нашего профиля. Едва я перешагнула порог своего нового отделения – и с меня слетела депрессия. Хотя тут же начался опять маниакал, опять программа «Солярис». Но общество там, на Каширке, собралось изысканное!

Тамара Георгиевна, приезжая меня проведывать инкогнито, робко заглядывала за порог комнаты свиданий, – а я ей говорила, что она остается в Ганнушкина, как на передовой, Центр же – что-то вроде тылового госпиталя...

Вообще психиатрия – это самая настоящая линия фронта: психиатры держат оборону от мира безумия, все сильнее наползающего на реальность материального мира. Похоже, психиатры – последний оплот вменяемости на границе реального и ирреального. Причем это столкновение частенько вполне осязаемо. Тамара Георгиевна, изящная и деликатная, пережила несколько нападений со стороны буйных пациенток, выдравших ей клочок волос и расцарапавших лицо, – такие случаи не редкость.

Она навсегда останется в моей памяти своей печальной фразой: «Красоты не хватает, Марина Владиславовна, красоты вокруг очень мало».

В Центре

Итак, общество здесь подобралось изысканное – почти сплошь интеллигенция. Покачиваясь на финских вращающихся креслах, мы вели неспешные, безумно интересные беседы. Тихая, кроткая, улыбочивая девушка Лена рассказывала, что она ничего не может есть, кроме хлеба и воды, потому что чувствует боль всех растений и животных, убиваемых человеком для пропитания. Ела только ради мамы, и мечтала найти такого же человека, как она, который бы питался солнечной энергией и водой, уйти с ним жить в пустыню. Она понимала, что мечта ее практически несбыточна, и потому мужественно несла свой крест среди обычных людей, включая психушки, и лишь просила не посылать ее на кухню чистить картошку, ибо для нее это равносильно фашистским концлагерям, в которых с людей заживо сдирали кожу. Другая девушка вернулась к нам, как она сообщила в бреду, из вселенского гестапо. Там убили всех ее детей, и больше людей нигде не осталось. И нам тоже только кажется, что мы живые. У нее было обгоревшее лицо: утром, пока все спали, она прошлась по палатам, доставая из тумбочек шампуни и втирая их зачем-то в кожу лица. Я ставила ей примочки и объясняла, что это в ее реальности всех убили, а в нашей еще остался кое-кто, и раз уж она здесь очутилась, то надо научиться нашим правилам: например, шампунем моют волосы, а не мажут лицо.

Распространенный среди больных мотив – встречи с инопланетянами прямо на улице, среди толпы. (Черти больше почти никому не чудятся, я за долгие годы встретила лишь одну больную «с чертями».) Сама я тоже постоянно чувствовала некое присутствие высших существ. Мне стало мерещиться в приступах, что они материализуются в обычных людей, чтобы спастись от какой-то враждебной им цивилизации. Их отличал звездный блеск глаз.

Сюжеты бреда одинаково повторяются у разных больных, но реагирует на эти сюжеты каждый по-своему. Например, первый раз, когда на меня хлынул в тысяча девятьсот восемьдесят первом году поток образов и света, я назвала это привычным для себя термином: «Коммунизм начинается». И стала на радостях все раздавать. В больнице мне встретила девушка с тем же откровением, но она, в отличие от меня, в связи с наступлением коммунизма стала бесплатно брать с прилавков все подряд.

Для меня каждый приступ маниакала проходит в бесконечном дарении окружающим всего, что у меня есть под руками. Скажу честно, что о некоторых подарках, очутясь в депрессиях, я, бывает, остро сожалею. Я так и не поняла, где же я более истинная – в маниакале или в депрессиях?

Сон на даче

В то лето я много писала и печаталась. Был подъем – но без бреда, редкая удача! Однажды на даче, на рассвете, мне приснился ослепительно яркий до осязаемости сон. Дело было на незнакомой планете в большом зале, полном каких-то людей. Я работала с аудиторией, как на коммунарском собрании, когда мы умели за считанные часы сплотить и воодушевить массу народа. Но здесь я недооценила запасы злости и агрессии, скопившиеся в людях, раздался щелчок выстрела, и я стала улетучиваться, дематериализовываться, отлетая, и в этот миг появился он – Звездолетчик – в одеждах серебристо-пепельного цвета. Он прилетел мне на помощь, но опоздал. Навсегда отпечталось в моей памяти его лицо – поднятое вверх, ко мне, мучительно напряженное, любящее. Только один взгляд нам и был дарован. Я исчезала, улетучивалась, и по мере того, как я улетучивалась там, на той планете, я появлялась здесь, на даче, среди зеленого от листвы солнечного света в окнах. Рядом спала мама, и я должна была сдерживаться – только одна горячая слеза сползла по моей щеке на подушку, мама подняла голову, я тут же закрыла глаза, не смея даже разрыдаться. Ведь он, мой самый настоящий, единственный, остался там, на недостижимой звезде, один, без меня, к которой он так спешил на помощь. Остался – работать, а мне предстояло работать здесь, тоже одной. Только имя его осталось со мной – Гарри. Да еще этот его мучительно-тоскующий взгляд, чего оказалось достаточно, чтобы я долгие годы упрямо искала его на земле.

Наверное, это были осязательные галлюцинации: я чувствовала его вселение в меня буквально кожей. Очевидно, это был след еще тогдашнего, давнего образа в профессорской квартире. Мне было это не важно: галлюцинация он или реальный образ – я должна была разгадать его, найти. Юре я честно описала свои ощущения по телефону и прямо спросила, он ли этот Гарри, который по мне «ползет» на расстоянии, или кто другой? Юра, очевидно, струхнул и отрицал свое пребывание в моих ощущениях.

Тогда я начала искать Гарри в других измерениях.

...Пишу эти строки на даче в середине лета, когда кажется, что сама природа, сама материя солнечного света противится уходу в мир иллюзий и иррационального. Пишу, преодолевая вязкость слов, чтобы выразить невыразимое, запечатлеть эфемерное, наполнить бытием несбыточное.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.